

The background of the cover is a dark, atmospheric illustration. A central figure, a Grim Reaper, is depicted from behind, wearing a long, dark, flowing robe with a hood that completely obscures their face. They have long, wavy, dark hair. In their right hand, they hold a glowing, ornate lantern that casts a warm, yellow light. The figure stands on a dark, muddy path that leads into the distance. To the left of the path, there are several bare, gnarled trees. To the right, in the background, there is a small, dark wooden windmill perched on a hill. The sky is filled with heavy, dark clouds, and a bright, circular light source, possibly the moon or a full sun, is visible behind the clouds, creating a halo effect around the figure's head.

Максим Воронов

Дневник чумного доктора.
Марион

18+

Максим Воронов

Дневник чумного доктора. Марион

«Автор»

2026

Воронов М.

Дневник чумного доктора. Марион / М. Воронов — «Автор»,
2026

В разгар средневековой чумы юная Марион, дочь рационального врача, открывает в себе дар — способность видеть саму суть болезней в виде зловещей Тени. Когда эпидемия забирает отца, а ее мир рушится, она вынуждена бежать с бабкой-знахаркой в древний лес. Там, под сенью вековых деревьев и шепот древних духов, Марион предстоит выбрать свой путь: между светом науки и мраком первобытной магии, между любовью и местью, между человечностью и могуществом. Ее дар — не только ключ к спасению, но и проклятие, которое может погубить ее саму и тех, кого она пытается защитить от наступающей тьмы.

© Воронов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Ученый и его Дочь	5
Глава 1. Тень на Пороге	8
Глава 2. Дар Крови	11
Глава 3. Сон Наяву	15
Глава 4. Голос Теней	19
Глава 5. Первое Проклятие	23
Глава 6. Уход в Лес	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Максим Воронов

Дневник чумного доктора. Марион

Пролог. Ученый и его Дочь

Холодный, пронизывающий ветер рвал последние побуревшие листья с ветвей вязов, стоящих за покосившимся забором. Он просачивался в щели ставень старого, двухэтажного дома на отшибе города, заставляя пламя в камине нервно плясать и отбрасывать на стены неверные, пульсирующие тени. Воздух в большой главной комнате, служившей одновременно кухней, столовой и лабораторией, был густым и сложным. Он был прописан дымом от очага, сладковатым душком сушеных трав, развешанных гирляндами под потолком, и едкой, металлической остротой химических реактивов.

Это было царство Каэла.

Мужчина лет сорока, с лицом, испещренным морщинами напряженной мысли и усталости, сидел за массивным дубовым столом, заваленным свитками, ретортами и причудливыми инструментами, чье назначение было ясно лишь ему одному. Его волосы, когда-то темные, теперь были густо просеяны серебром и откинuty со лба небрежной прядью. Одежда – простая, из грубой шерсти, но чистая, пахнувшая дымом и полынью. Взгляд его, устремленный на страницы разложенного фолианта, был острым и сосредоточенным, но в глубине карих глаз таилась привычная тень – тень человека, вечно бьющегося над загадкой, ответ на которую ускользает, как дым.

Рядом, на низком табурете, склонилась над собственной работой его дочь, Марион. Девочка лет четырнадцати, она была живым портретом своей покойной матери – такие же темные, как спелая ежевика, волосы, собранные в простую косу, и большие, серьезные глаза, казавшиеся не по годам взрослыми. Худая, еще не сформировавшаяся фигура была облачена в скромное платье защитного цвета, поверх которого был накинут самодельный кожаный фартук, испещренный пятнами и подпалинами. Ее тонкие, ловкие пальцы с невероятной точностью растирали в каменной ступке смесь из сушеных грибов и корней, а губы шептали что-то, словно она вела беззвучный диалог с самим веществом.

– Отец, – ее голос, тихий, но четкий, разрезал густой воздух комнаты. – Смотри. «Железистый мох» с северного склона... он не просто вбирает влагу. Он меняет структуру. В смеси с корой ивы он дает не желтый, а... зеленоватый оттенок. Как молодая хвоя после дождя.

Каэл оторвался от книги, его взгляд смягчился, переходя с пергамента на дочь. Он видел не просто ребенка, увлеченного игрой. Он видел ум, жаждущий понять не «что», а «почему».

– Это взаимодействие квасцов, содержащихся в мхе, с танинами ивы, – ответил он, его голос был низким и немного усталым. – Цвет – лишь внешнее проявление. Суть в том, что такая смесь может... связывать вредные гуморы. Останавливать гниение в ране. В теории.

– В теории? – Марион подняла на него глаза, и в них вспыхнул огонек. – Но мы видели, как старый Ганс, мясник... его нога...

– Мы видели, что рана не почернела и он выжил, – осторожно поправил Каэл. – Но был ли это наш бальзам, его крепкое сложение или воля Господа – мы не знаем. Науке, дитя мое, чужды предположения. Только повторяемый результат.

– Но чтобы его повторить, нужно пробовать! – в голосе Марион зазвучала страсть, которую Каэл в себе давно усмирив. – Смотреть, наблюдать, ошибаться! Ты же сам говорил, что ошибка – это ступенька.

Каэл вздохнул, отодвинув от себя тяжелый фолиант. Поощрять ее любознательность было опасно. В мире, где любое неортодоксальное знание могло быть истолковано как колдовство, пытливый ум был смертельным риском. Но подавить этот живой, яркий огонь... он не мог.

– Говорил, – согласился он. – Но помни, каждая ступенька может быть скользкой. То, что мы делаем здесь... – он обвел рукой комнату с ее склянками, чучелами летучих мышей и пучками подозрительных трав, – для многих не наука. Для них это магия. А магию сжигают.

Из темного угла, завешанного старой, выцветшей тканью, донесся тихий, хриплый голос, похожий на шелест сухих листьев:

– Бояться тени – значит никогда не выйти на солнце, Каэл.

За тканью приоткрылась дверь в крошечную комнатку, и на пороге появилась Аделина. Бабушка Марион. Высокая, иссохшая, как древнее дерево, старуха. Ее лицо было паутиной морщин, но глаза... глаза были поразительно ясными, ярко-голубыми, и в них светился ум, не знающий возраста. Она опиралась на резной посох из черного дерева, а ее темное, простое платье пахло сушеным чабрецом и чем-то еще – горьким, неуловимым, словно пыльца с болотных цветов.

– Ба! – Марион тут же повернулась к ней, ее лицо озарилось улыбкой. – Ты слышала?

– Слышала, пташка, – Аделина медленно подошла к столу, ее костлявая рука с длинными, тонкими пальцами дрожала над ступкой. – Зеленоватый оттенок... Интересно. Земля шепчет тебе свои секреты. Ты умеешь слушать.

Каэл нахмурился. Именно этот, унаследованный от Аделины, «мистицизм» в подходе дочери беспокоил его больше всего. Он верил в логику, в вес, в меру. Аделина же верила в «шепот земли», в «скрытые связи», в знаки.

– Мать, не сбивай ее с толку, – мягко, но твердо сказал он. – Знание должно быть точным. Измеримым.

– И что ты измерил, сын мой? – Аделина устремила на него свой пронзительный взгляд. – Душу больного? Его волю к жизни? Ты дронишь мир на атомы, но не видишь картины. Марион... она видит. Она чувствует нити, что связывают все воедино. Мох и иву, боль и исцеление, жизнь и смерть.

Она кашлянула, сухим, надсадным кашлем, и Каэл невольно встревожился. Этот кашель преследовал уже несколько месяцев.

– С тобой все в порядке? – спросил он, вставая.

– Старость – не рана, Каэл. Ее не исцелить твоими бальзамами, – отмахнулась она, но в ее глазах мелькнула тень усталости. – Лучше расскажи, что пишут в твоих умных книгах о «невидимых семенах»? О тех крошечных тварях, что, по словам некоторых еретиков, разносят хворобы?

Каэл насторожился. Разговоры о «невидимых семенах» – теории, которую он находил в запрещенных манускриптах, – были опасны вдвойне.

– Об этом лучше не говорить, – тихо, но весомо произнес он. – У стен есть уши. А у епископа... длинные руки.

В доме на мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев в камине и завыванием ветра снаружи. Тень от их беседы, тяжелая и неопределенная, легла на собравшихся.

Марион посмотрела то на отца, склонившегося над столом с новым грузом забот на плечах, то на бабушку, чей взгляд был устремлен в окно, в бушующую непогоду, словно она видела в ней нечто большее, чем просто дождь и ветер.

– Я все равно найду ответ, – тихо, но с несгибаемой уверенностью прошептала Марион, глядя на свою ступку с зеленоватой смесью. – Я найду его для всех. Чтобы никто не боялся.

Ее слова повисли в воздухе, смешавшись с дымом и запахом трав. Это была не детская мечта. Это была клятва. А за окном, в сгущающихся сумерках, ветер выл все громче, предве-

щая бурю, которая должна была вот-вот обрушиться на их хрупкий, полный тайн и опасностей мир.

Глава 1. Тень на Пороге

«Чума приходит не с кораблей. Она приходит из иного места, оставляя за собой след, что видится не глазом, а душой. И первый, кто его узрит, обречен на одиночество»

Туман в тот год стоял неестественно долго, даже для осени. Он пришел с моря, белесый и влажный, и словно врос в землю, окутав город и его окрестности в саван из хлопьев и молочной пелены. Воздух стал тяжелым, им было трудно дышать, он обволакивал горло, оставляя на губах привкус соли и гниения. Солнце, бледное и невыразительное, как полированная монета, не в силах было разорвать эту пелену. В домах, несмотря на закрытые ставни, постоянно висела сырость, от которой плесень расплзалась по стенам зловещими зеленоватыми архипелагами.

В доме Каэла запах сырости смешивался с едким ароматом дымящихся трав – полыни, руты и можжевельника, которые он велел жечь в очаге для очищения воздуха. Лаборатория-кухня превратилась в штаб по борьбе с невидимым врагом. Повсюду стояли горшки с кипящим снадобьем на основе уксуса и горьких трав, которые Каэл раздавал всем желающим как профилактическое средство. Но в его глазах, обычно таких сосредоточенных, теперь читалась тревожная пустота. Он почти не спал, его лицо осунулось, а руки, несмотря на частые омовения в уксусе, постоянно пахли дымом и чем-то чужим, болезненным.

Первые вести пришли с портовых доков. Шепотом передавали, что на корабле «Морская Девка» из южных стран вымерла почти вся команда. Люди умирали стремительно: с жаром, кашлем с кровавой мокротой и черными бубонами под мышками и в паху. Городские власти, под давлением гильдии купцов, пытались замолчать слухи, но страх, как чумной миазм, уже просочился в каждую щель.

Каэл ушел на рассвете, захватив с собой объемистый кожаный саквояж, набитый инструментами и снадобьями. Марион осталась с Аделиной. Старуха стала еще молчаливее, ее пронзительные глаза все чаще смотрели в одну точку, словно она читала в узорах на стене неведомую летопись грядущих бед.

– Не трогай засов, не открывая никому, – уходя, строго наказал Каэл, его пальцы с силой сжали плечо дочери. – Что бы ни случилось. Пока не вернусь я.

Марион кивнула, глотая комок тревоги. Весь день она провела в нервном ожидании, механически выполняя рутинные работы: перебирала травы, мыла склянки, подкладывала поленья в камин. Но привычные действия не приносили успокоения. Воздух снаружи, пропитанный туманом, казалось, давил на стены дома, пытаясь просочиться внутрь.

Под вечер, когда серые сумерки начали сгущаться в углах комнаты, она не выдержала. Подойдя к зарешеченному окну, она прильнула лбом к холодному стеклу, вглядываясь в молочно-белую муть за ним. Город замер. Не было слышно ни привычного гула с рынка, ни криков разносчиков. Лишь изредка доносился приглушенный стук колес по булыжнику или отдаленный, полный ужаса крик.

И тут она это почувствовала.

Сначала это было смутное, почти физическое ощущение тяжести где-то за пределами дома. Как будто огромная, невидимая туша легла на грудь города. Затем к тяжести добавился запах. Не тот, что был в воздухе – гнили и сырости. Это был запах-призрак, который она ощущала не носом, а чем-то иным, глубинным сознанием. Запах испорченного меда, смешанный с запахом горячего металла и чего-то невыразимо чужого, мертвого.

– Бабушка... – обернулась Марион, и голос ее дрогнул. – Ты... ты чувствуешь?

Аделина, сидевшая в своем кресле у камина с закрытыми глазами, медленно кивнула, не открывая их.

– Чую, дитя. Старая костяная рука дотронулась до моего плеча. Она здесь.

Марион снова посмотрела в окно. И вдруг, сквозь пелену тумана, она узрела нечто, от чего кровь застыла в жилах. Это не было зрением в привычном смысле. Это было внутренним зрением, о котором говорила Аделина. Над крышами домов, в направлении беднейшего квартала у реки, висел гигантский, размытый шлейф цвета гниющей сливы. Он был полупрозрачным, неосязаемым, но от него исходила такая волна тоски, боли и абсолютной, безжизненной пустоты, что у Марион перехватило дыхание. Это и был «темный след». Отпечаток болезни в самом мире, ее зловеющий эфирный двойник.

– Он... он движется, – прошептала она, не в силах оторвать взгляд. – Медленно. От дома к дому.

– Болезнь всегда движется, – отозвалась Аделина. – У нее свои тропы. Свои вкусы.

В этот момент снаружи раздался настойчивый, нервный стук в дверь. Голос, хриплый от страха, прокричал:

– Доктор Каэл! Ради Бога, откройте!

Марион метнулась к двери, но вовремя вспомнила наказ отца. Она прильнула к глазку – узкой щели в дубовой доске.

На пороге стоял толстый, богато одетый мужчина, лицо его было землистым от ужаса, а дорогой камзол испачкан грязью. Рядом с ним, опираясь на его плечо, стояла молодая женщина, его жена или дочь. Ее лицо было покрыто испариной, глаза лихорадочно блестели, а губы, потрескавшиеся и бледные, беззвучно шептали что-то.

– Моего тестя... купца Альриха... скосил злой насморк! – почти рыдал мужчина. – Говорят, ваш отец... он может помочь! Деньги не важны!

И тут Марион увидела это. Тонкую, едва заметную дымку того самого гнилостно-сливового цвета, что висела над кварталом у реки. Она исходила от молодой женщины. Она обволакивала ее, как ядовитый туман, цепляясь за складки ее платья, за ее волосы. Это был тот самый след.

– Уходите! – крикнула Марион сквозь дверь, и ее собственный голос показался ей чужим, полным не юношеского страха, а леденящего ужаса прозрения. – Уходите отсюда! Она... она уже заражена!

Мужчина отшатнулся от двери, его лицо исказилось сначала недоумением, затем злостью.

– Что за глупости! У моей Эльзы просто жар! Открой, девчонка, я с твоим отцом говорить буду!

– Она принесла Тень в ваш дом! – уже не кричала, а почти рыдала Марион, чувствуя, как отвратительный, невидимый смрад болезни будто просачивается сквозь щели в дверях и достигает ее. – Я вижу ее! Уходите, пока не поздно!

Снаружи послышалась ругань, затем быстрые, удаляющиеся шаги. Марион отползла от двери и, обессиленная, опустилась на пол, прислонившись спиной к холодным дубовым доскам. Ее трясло, как в лихорадке. В горле стоял ком. Она чувствовала себя оскверненной, прикоснувшейся к чему-то грязному и смертельному.

Аделина молча подошла к ней и накрыла ее плечи своим старым, выцветшим платком. Ее рука, холодная и сухая, легла на ее голову.

– Первый раз – самый тяжелый, – тихо сказала старуха. – Ты увидела лицо врага. Настоящего врага. Того, кого не возьмешь ни мечом, ни молитвой.

– Что... что это было, бабушка? – выдохнула Марион, все еще не в силах справиться с дрожью.

– Дар, – просто ответила Аделина. – И проклятие. Наша кровь, кровь Алтариусов, всегда была чувствительна к искажениям в тканях мира. Болезнь... особенно такая, как эта... не

просто губит тело. Она вьется гнилым корнем в самой жизни, оставляя после себя пустоту. Ты видишь эту пустоту. Тень, что отбрасывает умирающая плоть.

Каэл вернулся глубокой ночью. Он был страшен. Его одежда пропахла смертью и хлорной известью, которой городские власти посыпали трупы. Лицо было серым, маской измождения. Он молча сжег свою верхнюю одежду в очаге, затем долго и тщательно мыл руки и лицо в тазу с уксусом, словно пытаясь смыть с себя не только грязь, но и весь ужас этого дня.

Марион сидела за столом, не в силах сомкнуть глаз. Она смотрела на отца, и ее переполняла смесь жалости, любви и леденящего душу знания.

– Отец... – начала она, когда он наконец опустился на стул, закрыв лицо руками.

– Не сейчас, Марион, – его голос был безжизненным, глухим. – Господи... я сегодня видел... Я ничего не мог поделать. Ни кровопускание, ни самые сильные отвары... Они умирали на моих глазах. Десять человек. В одном доме.

– Это не обычная болезнь, – тихо, но настойчиво сказала Марион.

Каэл поднял на нее усталые глаза.

– Что?

– Я... я чувствую ее. Вижу. Она оставляет след. Темный, как гниль. – Марион с трудом подбирала слова, пытаясь описать неопишуемое. – Сегодня приходил купец... с женщиной. Она была в этом... в этом смраде. Я видела Тень на ней.

Каэл нахмурился. Усталость и стресс сделали его голос резче, чем он того хотел.

– Хватит, Марион! Хватит этих суеверных бредней! Я сегодня наслушался этого вдоволь! «Божья кара», «проклятие», «сглаз»! Болезнь – это миазмы, испорченные гуморы, которые можно и нужно изучать! А не «тени», которые ты там себе вообразила!

– Но я не воображаю! – в голосе Марион зазвучали слезы. – Она реальна! Я чувствовала ее запах! Ее холод! Она движется по городу, как паук по паутине!

– Замолчи! – рявкнул Каэл, ударив кулаком по столу. Скрепитки звякнули. – Мне хватает безумия снаружи! Не носи его в мой дом! Ты – моя дочь, моя ученица! Думай, анализируй, а не видь какие-то видения!

Марион замолчала, сжавшись от боли и обиды. Она видела в его глазах не просто злость. Она видела страх. Страх перед тем, чего он не мог понять, измерить или взвесить. Страх перед тем, что его дочь, его рациональная, способная ученица, говорит на языке, для него чуждом и опасном.

Аделина, наблюдавшая из своего угла, не произнесла ни слова. Но ее взгляд, устремленный на Каэла, был полон бездонной печали.

Каэл тяжело вздохнул и провел рукой по лицу.

– Прости, – прошептал он. – Я устал. Просто... забудь. Завтра будет новый день. Мы найдем способ. Мы должны.

Но Марион знала – он не верил в свои слова. А она не могла забыть. Тень легла не только на город. Она легла между ними, тонкая, невидимая, но непреодолимая стена. Ее дар, ее проклятие, уже стало частью их жизни. И ничто не могло быть прежним.

Снаружи туман сгустился, и в его молочной глубине, как темное предзнаменование, плыл едва уловимый запах испорченного меда и горячего металла. Первая тень упала. И все понимали – это только начало.

Глава 2. Дар Крови

«Можно возвести самую прочную стену, оградить свой дом от всей мировой скорби. Но как уберечь того, кто по своей воле остался по ту сторону?»

Спустя неделю после того, как Марион впервые узрела Тень, город окончательно изменился. Воздух, некогда наполненный гулом жизни, теперь был звеняще-пустым, прерываемым лишь вороньим карканьем да приглушенными стонами из-за запертых дверей. Власти приказали вывешивать на дверях домов, где были больные, тюки с соломой, а позднее – просто рисовать углем кресты. Эти знаки появлялись, как язвы на теле города, с пугающей скоростью. Туман не отступал, он впитал в себя запах страха и смерти, став едким и плотным, как похлебка нищего.

Каэл почти не бывал дома. Он уходил затемно и возвращался за полночь, еще более мрачный и молчаливый. Его лаборатория замерла; склянки с многообещающими эликсирами пылились на полках, уступив место грудам высушенной полыни и бутылкам с уксусом – единственному, что хоть как-то, по общему мнению, могло отогнать заразу. Рациональный мир отца дал трещину, и в эти трещины хлынул леденящий ужас суеверий.

Марион жила как во сне. Ощущение Тени не покидало ее. Оно было фоновым шумом ее существования, далеким, но неумолкающим гулом, исходящим со стороны бедняцких кварталов. Она боялась подходить к окнам, словно та гнилостная дымка могла увидеть ее, почувствовать и потянуться к дому щупальцами невидимого смрада.

Именно в эти дни тихого отчаяния Аделина снова стала той, кем была прежде – не молчаливой старухой в углу, а Хранительницей. Она заметила, как внучка вздрагивает от каждого шороха, как ее взгляд, остекленевший, блуждает по комнате, видя не стены, а нечто за их пределами.

Однажды вечером, когда Каэл в очередной раз ушел на свой безнадежный пост, Аделина подозвала Марион к своему креслу у камина.

– Хватит, – сказала она мягко, но уверенно. – Нельзя позволять страху прорасти в тебе, как плесени в сыром хлебе. Он съест тебя изнутри. Твой дар – не клеймо, а инструмент. И им нужно научиться пользоваться.

– Как, бабушка? – голос Марион звучал потерянно. – Отец говорит, что этого не существует.

– Твой отец – умный человек, – вздохнула Аделина, – но он смотрит на мир через узкую щель в стене и думает, что видит все небо. Существует многое, для чего у него нет мер и весов. Подойди ближе.

Она взяла сухую, легкую, как осенний лист, руку Марион и положила ее на грубый, шершавый ствол полена, лежащего в корзине у камина.

– Закрой глаза. Что ты чувствуешь?

Марион послушалась. Сначала она ощутила лишь шероховатость древесины и его влажный холод.

– Ничего. Просто дерево.

– Не думай. Чувствуй, – настаивала Аделина. – Вспомни то, что видела. Тень. Она была холодной? Горячей? Пустой?

Марион сконцентрировалась, отбросив логику. Она представила тот гнилостный шлейф. И вдруг, под пальцами, древесина будто ожила. Она не стала теплой, нет. Но в ней ощущалось нечто... спящее. Глухая, медленная вибрация, эхо когда-то кипевшей в нем жизни. Остаток солнца, дождя, ветра.

– Оно... спит, – прошептала она.

– Верно, – в голосе Аделины прозвучало одобрение. – Все в этом мире имеет свою силу, свою песню. Камень, вода, трава. Даже эта старая скамья. Болезнь... та, что пришла... она не поет. Она заглушает песни. Она – тишина, пожирающая звук. Ты чувствуешь не саму Тень, а ту пустоту, что она оставляет. Тишину, что кричит громче любого звука.

С этого дня начались их тайные уроки. Когда Каэл уходил, Аделина превращалась из немощной старухи в проводника в мир, о котором Марион лишь догадывалась.

Она учила ее не названиям трав из книг отца, а их «шепотку».

– Вот полынь, – говорила она, давая Марион понюхать пучок серебристых, горьких листьев. – Ее сила – в огне и отречении. Она жжет, как правда, и очищает, как совесть. Ее песня – резкая, как свист ветра в ущелье. Она отсекает все лишнее, все чужое.

Марион закрывала глаза и вдыхала аромат, и ей чудился не просто запах, а образ: сухой, продуваемый всеми ветрами холм, стойкость и яростное, горькое очищение.

– А это – шалфей, – продолжала Аделина, перебирая бархатистые зеленые листочки. – Мудрость и память земли. Он не прогоняет тьму, как полынь. Он окружает светом, бережет, как мать дитя. Его песня – тихая, колыбельная.

И Марион чувствовала тепло, исходящее от растения, мягкую, обволакивающую силу, обещающую защиту и ясность ума.

Аделина показала ей, как плести простейшие обереги – не из золота или серебра, а из ивовых прутьев, красной нити и тех самых трав.

– Сила не в словах, дитя, – нашептывала она, ее ловкие, несмотря на возраст, пальцы переплетали прутья в сложный узор. – И не в форме. Сила – в твоём намерении. Ты вкладываешь в эти прутья свой приказ миру: «Храни. Защити». Ты говоришь с миром на его языке. Ты напоминаешь вещам их истинную суть – быть целыми, быть живыми.

Она научила ее простому заклинанию, вернее, напеву, что больше походил на колыбельную для самого воздуха:

*«Ветер с севера, ветер с юга,
Обойди стороной этот порог.
Огню в очаге не дай угаснуть,
Тьме за порогом не дай переступить.
Воском запечатаю, травой окурю,
Силу земли на защиту зову».*

Марион повторяла слова, и поначалу они казались ей просто набором звуков. Но Аделина заставляла ее не произносить, а вкладывать в них чувство. Представлять, как ветер действительно огибает дом, как стены становятся чуть прочнее, а воздух внутри – чуть чище.

И самое странное – это работало. Не так, как работало лекарство отца, с мгновенным и видимым эффектом. Это было похоже на то, как если бы кто-то приглушил ужасный шум за стеной. Давящее чувство тревоги, что не покидало Марион с того дня, слегка отступало. Тень на окраине ее восприятия не исчезала, но ее присутствие становилось менее навязчивым, менее враждебным.

Однажды, когда они с Аделиной окуривали дом дымом полыни и шалфея, снаружи послышались шаги. Быстрые, нервные. Дверь распахнулась, и на пороге появился Каэл. Он замер, впуская внутрь клубы холодного, зараженного тумана. Его взгляд скользнул по дымящейся травнице в руках Аделины, по маленькому ивовому оберегу, что Марион, застигнутая врасплох, не успела спрятать.

На его лице, изможденном и сером, не было гнева. Была лишь бесконечная усталость и что-то похожее на разочарование.

– И ты тоже, мать? – его голос был тихим и хриплым. – Ты кормишь ее этим... этим мракобесием? В то время как я там, в аду, пытаюсь бороться с реальной болезнью реальными методами?

– Твои методы не работают, Каэл, – спокойно ответила Аделина, не опуская глаз.

– А твои? – он резко махнул рукой в сторону берега. – Эти прутики и шепотки остановят чуму? Спасут кого-нибудь?

– Они могут дать защиту этому дому, – сказала Марион, вставая между отцом и бабушкой. Ее голос дрожал, но в нем звучала новообретенная уверенность. – Они... отгоняют Тень. Делают ее тише.

Каэл посмотрел на дочь, и в его глазах что-то надломилось. Он увидел не послушную ученицу, а чуждую ему жрицу какого-то темного, иррационального культа.

– Тень, – с горькой усмешкой повторил он. – Хорошо. Продолжайте в том же духе. Плесте свои паутинки против урагана. А я... я пойду и попробую спасти еще одну жизнь, которая, возможно, того не стоит.

Он развернулся и вышел, хлопнув дверью. Марион смотрела на захлопнувшуюся дверь, чувствуя, как в груди у нее растет холодный камень. Она сделала шаг в новый мир, мир интуиции и тихой магии природы, но этот шаг отдалил ее от отца, выкопав между ними пропасть, казавшуюся теперь непреодолимой.

Аделина положила руку ей на плечо.

– Его путь – его путь, – тихо сказала она. – А твой – твой. Ты не можешь идти ими обоими. Рано или поздно придется выбирать. А сейчас нужно сделать больше, чем просто окурить дом. Темнота ложится тяжело, в ней много дурного. Нужно сплести настоящую стену. Поможешь мне?

Марион, с замиранием сердца, кивнула. В ее жилах заструился не только страх, но и жгучее любопытство.

Аделина велела ей принести медный таз, воду из колодца, набранную до восхода солнца, и свечу из чистого воска. Ритуал начался на пороге дома. Старуха, казалось, помолодела на десять лет; ее движения стали точными и полными странной, торжественной грации. Она зажгла свечу, и пламя, несмотря на сквозняк, застыло ровным, почти недвижимым столбиком.

– Слушай не слова, а тишину между ними, – прошептала она Марион. – Смотри не на огонь, а на свет, что он отбрасывает на мир.

Она начала обходить дом по кругу, против хода солнца, и Марион шла за ней, неся таз с водой. Аделина не просто бросала травы в маленькую жаровню, что держала в дрожащей руке. Она ритмично встряхивала ее, и дым ложился на бревенчатые стены, не рассеиваясь, а образуя причудливые, змеящиеся узоры. Он стелился по земле, очерчивая невидимую границу, и Марион внутренним зрением видела, как эта граница вспыхивала тусклым серебристым светом, словно по жилам дома начинала течь новая, защитная кровь.

Аделина напевала, и это уже не была колыбельная. Это был низкий, гортанный напев, полный древней силы. Он не просил – он утверждал.

«Земля-матушка, встань на каменную твердь,

Водой жилой омой мою обитель.

Воздух-братец, стань щитом от злой напасти,

Огонь-сестрица, спали хворь ненасытную.

Четыре стены, четыре стражи,

Сомкнитесь кругом, не пустите лихо.

Как этот воск невредим, пока горит,

Так и дом сей цел будет, покуда стоит.»

Когда круг замкнулся, Аделина взяла у Марион таз и плеснула воды на порог. Капли, попав на задымленное дерево, не впитались, а словно скатились по невидимому стеклу. Воздух

в доме стал другим – густым, тихим, насыщенным. Казалось, сам дом затаил дыхание. Марион чувствовала, как невидимая стена поднялась вокруг них, прочная и упругая. Шум ужаса извне, тот самый гул Тени, стих почти полностью, оставив после себя лишь звенящую, благоговейную тишину.

Но цена оказалась высокой. Когда ритуал был завершен, Аделина едва не рухнула от изнеможения. Марион успела подхватить ее и уложить в кресло. Старуха была бледна, как полотно, ее дыхание стало хриплым и прерывистым.

– Сила... уходит... – прошептала она. – Береги дом... Теперь... твоя очередь...

В ту ночь Марион долго не могла уснуть. Эйфория от ритуала сменилась тягостными раздумьями. Она лежала на своей жесткой кровати и прислушивалась к непривычной тишине. И тогда сон нашел ее.

Она стояла в полной темноте. Абсолютной, беззвездной. И вдруг вдалеке затеплился огонек. Она узнала его – это была масляная лампа отца, под которой он сидел за своими книгами. Он был там, в круге света, склонившись над столом, и что-то тщательно выводил пером на листе пергамента. Его лицо было спокойным, умиротворенным, каким она не видела его уже много недель.

И тут из мрака, медленно и бесшумно, выползла Знакомая Тень. Но на этот раз она не была аморфным облаком. Она сгустилась, приняв форму гигантской, тощей руки с длинными, костлявыми пальцами. Она не двигалась к дому. Она двинулась прямо к тому островку света, где сидел ее отец.

Марион попыталась закричать, предупредить его, но не могла издать ни звука. Она пыталась бежать, но ноги были прикованы к месту.

Рука Тени нависла над светом лампы. Казл, ничего не замечая, продолжал писать. И тогда пальцы сомкнулись над пламенем.

Свет погас.

Не с треском, не с вспышкой. Он просто перестал существовать, поглощенный абсолютной чернотой. И в этой внезапной, оглушительной тишине, наступившей после исчезновения света, Марион услышала последний, едва различимый звук – тихий, влажный кашель, знакомый до боли, но на этот раз полный такой беспомощности и конечности, что у нее заныло сердце.

Она проснулась с этим кашлем в ушах и с ледяным холодом в груди. Сердце колотилось, выпрыгивая из ребер. По щекам текли слезы. Она сидела на кровати, дрожа всем телом, и смотрела в предрассветную тьму комнаты. Защитная стена, возведенная бабушкой, все еще стояла – она чувствовала ее упругую плотность. Но теперь она знала, что эта стена защищала только их. Ее отец был снаружи. Один. В царстве Тени.

Она поняла, что видела не просто кошмар. Она видела будущее. Предупреждение. Смерть отца от чумы была не возможностью, а неизбежностью, которую она, обладая даром, не могла предотвратить, не предав тот самый новый мир, что только что открылся перед ней.

Когда первые лучи утреннего солнца упали в комнату, Марион все еще сидела, обхватив колени, и смотрела в одну точку. Наследие бабушки оказалось не только силой, но и страшным бременем – знать судьбу и быть бессильной ее изменить. И этот груз был теперь на ее плечах.

Глава 3. Сон Наяву

«Есть звук, что громче любого крика – это тишина, наступающая после того, как обрывается последняя нота жизни. И есть знание, что страшнее любой тайны – это понимание, что твой дар бессилен спасти того, кто был твоим миром».

Пророческий сон Марион сбылся с безжалостной, методичной точностью палача. Прошло три дня. Защитный круг, возведенный Аделиной, все еще держался, но теперь он ощущался не как убежище, а как золотая клетка, сквозь прутья которой Марион наблюдала, как рушился ее мир.

Каэл вернулся на рассвете четвертого дня. Он не вошел, а ввалился в дом, прислонившись к притолоке. Его не было видно почти сутки, и за это время он изменился до неузнаваемости. Дорогой камзол был испачкан грязью и чем-то бурым, похожим на запекшуюся кровь. Лицо, всегда такое сосредоточенное, теперь было серым, землистым, а глаза, запавшие в темные, как провалы, круги, лихорадочно блестели. Он дышал тяжело и прерывисто, словно воздуха не хватало места в его груди.

– Не подходи! – его голос был хриплым, едва слышным, но в нем прозвучала привычная команда. Он отшатнулся от Марион, бросившейся к нему.

– Отец!

– Я сказал, не подходи! – он кашлянул, судорожно, и звук был влажным и глубоким. – Воды... и уксуса. Отнеси... к порогу.

Марион застыла на месте, сердце ее замерло. Она смотрела на него, и ее внутреннее зрение, тот самый проклятый дар, уже видело. Видело не просто больного человека. Оно видело Тень. Ту самую, гнилостно-сливовую пелену, что висела над городом. Теперь она обволакивала ее отца, цепляясь за его одежду, впиваясь в его кожу. Она была на нем. Она была в нем.

Аделина, молча наблюдавшая из своего угла, медленно поднялась. Ее лицо было маской скорбного спокойствия. Она знала. Она видела это слишком много раз.

– Каэл, – тихо произнесла она.

– Ничего, мать, – он попытался выпрямиться, но его снова скрутил кашель. – Просто устал. Просто... простуда. От сырости.

Но это была не простуда. Марион видела, как он, снимая плащ, нечаянно задел рукой косяк двери. На его шее, чуть выше воротника, проступило багровое, почти черное пятно. Бубон. Знак смерти.

Они устроили ему постель в маленькой кладовой, в самом конце коридора, подальше от жилых комнат. Каэл не сопротивлялся, его гордыня ученого была сломлена физической немощью. Марион, обмотав лицо тряпкой, смоченной в уксусе, как делал он сам, ухаживала за ним.

Первые часы были отмечены яростным, ни на миг не отпускающим жаром. Тело Каэла пылало, как горн, его била такая дрожь, что зубы выбивали дробь о деревянный краешек кружки с водой, которую едва удавалось влить в него. Потом его стало рвать – сначала водой, а затем зеленоватой, горькой желчью. Воздух в тесной комнатке быстро пропитался кисло-сладким, тошнотворным запахом. Это был не просто запах болезни; это был запах тления, будто плоть изнутри уже начала отказывать.

К концу первых суток на его коже, в паху и на внутренней стороне бедер, выступили десятки крошечных, багровых точек, похожих на укусы невидимых насекомых. Петехии. Еще один безошибочный знак. Каэл, в редкий момент ясности, сам указал на них дрожащей рукой,

и в его глазах мелькнуло нечто худшее, чем страх – полное, безоговорочное признание поражения.

– Геморрагическая... лихорадка... – прошептал он, и слова повисли в смрадном воздухе приговора.

Его сознание уплывало. Он бредил. Он звал свою покойную жену, Элинор, умоляя ее о прощении. Он спорил с давно умершими учителями, цитируя на латыни отрывки из Галена. Потом его бред стал личным, страшным.

– Марион... не смотри... не позволяй ей смотреть... – он метался на промокшем от пота тюфяке, вырываясь из ее рук. – Она видит... пустоту... во мне... Я не хочу... чтобы ты знала... что там... ничего нет...

Эти слова ранили ее больше любого ножа. Он, всегда такой сдержанный, обнажал перед ней свой самый страшный, сокровенный ужас – страх небытия, который его наука так и не смогла победить.

Марион приносила ему воду, пыталась влить в него отвары из полыни и шалфея, которые когда-то казались ей панацеей. Она ставила ему банки, пускала кровь – все те процедуры, которым он научил ее, все те методы, что он так яростно отстаивал.

И все они оказались бесполезны.

Болезнь двигалась стремительно. Жар сжигал его изнутри, он метался на грубом тюфяке, то требуя открыть окно, то жалуясь на ледяной холод. Его сознание то возвращалось, то уплывало в бредовые видения.

– Марион... – его пальцы, горячие и сухие, как опавшие листья, сжали ее руку в один из редких моментов ясности. – Дневники... на полке... за свитками Галена... Там... кое-что... о миазмах... Воздушной передаче... Может, ты... найдешь...

Он снова закашлялся, и на его губах выступила розовая пена.

– Отец, не надо говорить, – умоляла она, вытирая его лицо тряпкой. Холст мгновенно пропитывался кислым, тошнотворным запахом болезни, который не мог перебить даже уксус.

– Наука... – прошептал он, и в его глазах, на мгновение, вспыхнул старый огонек. – Она должна... победить... Ты должна... понять...

Понять? Что она могла понять? Она видела, как его рациональный, выверенный мир рассыпается в прах. Как его книги, его склянки, его точные инструменты оказались беспомощны перед слепой, бездушной силой, у которой не было ни формулы, ни логики, ни имени, кроме как «Чума».

На вторые сутки его агонии в дом пришел священник. Молодой, испуганный послушник, присланный вместо старого кюре, который уже лежал с температурой. Его лицо было бледным, пальцы судорожно перебирали четки.

– Господь... послал испытание... – начал он, останавливаясь на пороге кладовой и боязливо крестясь.

– Уходите, – тихо, но с такой ледяной ненавистью сказала Марион, что юноша попятился. – Ваш Бог не нужен здесь. Мой отец верил в разум.

Но и разум оказался не нужен. Он умирал. Просто умирал. Как умирали мясник Ганс, купец Альрих и сотни других.

Последнюю ночь Марион провела у его постели, не в силах отойти. Аделина сидела в соседней комнате, ее молчание было красноречивее любых слов. Защитный круг, который она возвела, не мог спасти того, кто уже носил врага в себе.

Под утро Каэл внезапно затих. Его дыхание, до этого хриплое и прерывистое, стало тихим, почти неслышным. Марион наклонилась над ним.

– Отец?

Его глаза были открыты, но они смотрели не на нее, а куда-то вглубь, в нечто, что видимо только умирающим. Его губы шевельнулись.

– ...невидимые... семена... – выдохнул он. Это были слова из запретных манускриптов, теория, которую он всегда отвергал как ненаучную. – ...они... повсюду...

И затем, его взгляд на мгновение прояснился. Он увидел ее. В его глазах мелькнуло невыразимое горе, страх и... извинение.

– Марион... прости...

Его рука, которую она держала, обмякла. Голова бессильно откинулась на сторону. Лихорадочный блеск в глазах угас, сменившись плоским, стеклянным взглядом небытия. Тишина, наступившая в комнате, была громче любого грома. Это была тишина конца.

И тогда Марион не просто увидела, как свет покидает его глаза. Она *почувствовала* это. Та тихая, упрямая мелодия, что звучала в нем всю жизнь – мелодия мыслей, дыхания, биения сердца – оборвалась на самой высокой ноте. И в возникшую звенящую пустоту хлынуло Нечто. Холодное, бездонное, всепоглощающее. Не смерть как покой, а смерть как уничтожение. Ее дар зафиксировал тот самый момент, когда Тень не просто констатировала смерть, а поглотила, втянула в себя последние искры его жизненной силы. И этот внезапно образовавшийся вакуум, эта абсолютная пустота, была страшнее любой боли.

Марион не кричала. Она не плакала. Она сидела на полу, все еще сжимая его остывающую руку, и смотрела в пустоту. Внутри нее что-то сломалось. Окончательно и бесповоротно. Вера в отцовскую науку, в логику, в силу разума – все это умерло вместе с ним, задохнулось в смраде чумных миазмов.

Она медленно поднялась. Ее движения были механическими, как у заводной куклы. Она вышла из кладовой, прошла через главную комнату и остановилась перед полкой с книгами отца. Тома Галена, Авиценны, трактаты по анатомии и алхимии. Весь его мир.

Она протянула руку и с силой смахнула их на пол. Тяжелые фолианты с грохотом полетели вниз, рассыпая облака пыли и клочья пергамента. Она схватила первую попавшуюся склянку с каким-то зельем и швырнула ее в стену. Стекло разбилось, и бурая жидкость, как кровь, растеклась по бревнам.

– Ложь! – прошептала она, и ее голос в тишине прозвучал, как удар хлыста. – Все это – ложь!

Она стояла, тяжело дыша, среди обломков мира своего отца. Мира, который не смог его спасти.

Аделина молча наблюдала за этим актом отчаяния. Она не стала утешать. Она знала, что некоторые раны должны заживать сами, превращаясь в шрамы, которые будут напоминать об уроке. Урок был жестоким, но очевидным: против некоторой тьмы свеча разума бесполезна. Нужен огонь иного свойства.

Она принесла чистую воду, настоящую на шалфее и полыни, и мягкую, грубую ткань. И начала омыwać тело своего сына. Это не было лечением. Это был ритуал. Прощание. Ее костлявые, исчерченные прожилками руки двигались медленно и почтительно, смывая с его лица грязь и пот агонии. Она закрыла ему глаза и что-то тихо напевала – старинный, бессловесный напев, полный печали и принятия, колыбельную для уходящей души.

Затем она вышла из кладовой и подошла к тому, что осталось от лаборатории. Ее взгляд упал на хирургический ланцет Каэла – его любимый инструмент с тонким стальным лезвием и рукоятью из слоновой кости. Он лежал среди осколков, чуть не затоптанный. Аделина бережно подняла его. Она не стала его ломать. Вместо этого она зажгла свечу и провела лезвием сквозь пламя, не для стерилизации, а для очищения. Затем так же бережно завернула его в кусок черного бархата и спрятала в складках своей одежды.

– Его оружие не должно быть растоптано, – тихо сказала она, обращаясь к Марион. – Оно было частью его пути. Его чести.

Марион смотрела на бабушку, и в ее опустошенной душе что-то шевельнулось. Гнев начал сменяться леденящей, кристальной ясностью.

Аделина подошла к ней и положила руку на ее плечо. Ее прикосновение было твердым и холодным.

– Он шел своим путем до конца, – сказала старуха. – Он был храбр. Но храбрости и разума мало. Теперь твой путь начинается, внучка. Не путь отрицания его мира, но путь соединения двух правд. Его правды – о форме, и моей – о сути. Ибо в одиночку против этой Тени не устоять ни тому, ни другому. Теперь ты – мост. Или могила для нас всех.

Марион медленно кивнула. Она подняла голову. Слез не было. В ее глазах, еще недавно таких юных и живых, теперь лежала холодная, безжалостная решимость. Вера в рациональное знание умерла вместе с отцом. Осталось только наследие бабушки – темное, иррациональное, пугающее. Но оно, по крайней мере, не лгало. Оно не обещало победы. Оно обещало лишь борьбу. И этого было достаточно.

Глава 4. Голос Теней

«Когда умирает последняя надежда на спасение извне, открывается дверь внутрь. И за ней – не божественный свет, а шепот корней, дыхание тумана и холодная рука самой земли, готовая вручить тебе ключ от сил, что старшие молитв.»

Хоронить Каэла пришлось тайком, глубокой ночью. Выносить тело на общие чумные костры, куда сваливали мертвых, как поленья, Аделина не позволила. Это было бы последним, окончательным предательством. Они завернули его в старый, простой саван из небеленого холста и на скрипучей деревянной тележке, оставшейся от давних хозяйственных дел, повезли к старому, заброшенному кладбищу за городской чертой, туда, где хоронили тех, на кого у Церкви и властей не хватало ни времени, ни интереса.

Ночь была безлунной и неестественно тихой. Даже ветер, вечный обитатель осенних полей, притих, словно затаив дыхание. Воздух был холодным и влажным, он обжигал щеки и пробирался под одежду ледяными иглами. Туман, вечный спутник чумы, стлался по земле густым, молочным покровом, скрывая кочки и коряги, превращая мир в призрачный, безориентирный ландшафт. Криков сов, тьяканья лис – ничего не было слышно. Лишь скрип несмазанных колес и их собственное, тяжелое дыхание нарушали гнетущее безмолвие.

Марион шла рядом с тележкой, ее лицо было каменной маской. Внутренняя опустошенность, наступившая после смерти отца, сменилась ледяным, сконцентрированным спокойствием. Она не плакала. Слезы казались ей теперь непозволительной роскошью, бесполезной тратой сил. Она просто смотрела вперед, на убегающую в туман колею, и ее разум был чист и пуст, как вымерший город.

Аделина шла впереди, ее худая, согбенная фигура едва виднелась во мгле. Она была их проводником и лоцманом в этом море тьмы и скорби.

Заброшенное кладбище предстало перед ними как царство забвения. Поваленные, покрытые мхом кресты утопали в бурьяне и крапиве. Некоторые могилы осели, обнажив полуистлевшие доски гробов. Воздух здесь пах не смертью, а старой, влажной землей, грибами и терпкой полынью. Это место давно отвыкло от живых.

Они выбрали место под разлапистым старым дубом, чьи голые, скрюченные ветви простирались к небу, как пальцы скелета, взывающего о пощаде. Работали молча, по очереди сменяя друг друга. Лопаты с глухим стуком вгрызались в сырую, холодную глину. Ритуал был лишен всякой христианской атрибутики. Не было священника, не было молитв, не было святой воды. Была только земля, ночь и тишина.

Когда грубая, неглубокая могила была готова, они вдвоем опустили в нее тело Каэла. Холст на мгновение белел в темноте, а затем скрылся во тьме. Марион стояла на краю, глядя в эту сырую яму, и чувствовала, как последние остатки ее старой жизни, жизни дочери ученого, окончательно уходят под землю вместе с ним.

Именно в этот миг абсолютной, оголтелой тишины она и услышала.

Сначала это был едва различимый шепот, похожий на шелест сухих листьев, хотя ветра не было. Он исходил не из одного источника, а отовсюду сразу – от старого дуба, от влажной земли под ногами, из самой гущи тумана. Шепот нарастал, обретая форму, но не слова, а скорее – смыслы, образы, ощущения.

«Не плачь, дитя земли...» – донеслось от дуба. Голос был древним, дремучим, полным терпения тысяч лет. *«Его плоть вернется к нам. Станет силой в наших корнях. Сном в нашей тени. Это не конец, а возвращение. Успокойся.»*

Марион вздрогнула и подняла голову. Она не слышала ушами – звук рождался прямо в ее сознании.

«Холодно ему... одиноко...» – прошелестела трава у ее ног, тонким, множественным голоском. *«Согрей его нашим дыханием... Нашей памятью... Мы помним всех, кто ушел в нашу утробу.»*

Затем из тумана, медленно и плавно, выплыло новое ощущение – прохладное, влажное, глубокое.

«Боль... острая... как лед...» – это был голос самой ночи, тумана и сырости. *«Дать тебе забыть? Забрать ее? На время... Навсегда...»*

И наконец, из темноты под дубом, где лежал ковер из гниющих листьев, послышалось нечто иное. Низкое, бархатистое, обволакивающее.

«Силу, дитя?» – прошептало Нечто. *«Не для слез... для дела. Гнев... можно сделать острее лезвия. Боль... жарче пламени. Он ушел... но Тень, что забрала его, осталась. Мы можем научить... Мы можем дать...»*

Марион замерла, ее дыхание застряло в горле. Это не был бред. Это не было воображением. Это было так же реально, как земля под ее ногами. Духи природы, те самые, о которых говорила Аделина, не просто существовали. Они говорили с ней. Они предлагали ей выбор. Забвение. Утешение. Или силу для мести.

Аделина, закончив закидывать могилу последними комьями земли, подошла к ней. Она смотрела на внучку не удивленно, а с глубоким, испытующим вниманием.

– Ты слышишь их, – это был не вопрос, а констатация.

Марион кивнула, не в силах вымолвить слово.

– Они всегда здесь. В камне, в дереве, в тумане. Они – голос мира, каким он был до церквей и королей. – Аделина положила руку на шершавую кору дуба. – Они говорят с теми, кто умеет слушать. И предлагают то, в чем ты нуждаешься. Что ты выберешь, дитя? Забвение? Или оружие?

Марион закрыла глаза, прислушиваясь к многоголосому шепоту. Голос дуба сулил покой, принятие. Голос трав – тепло памяти. Голос тумана – избавление от боли. А тот, низкий голос из-под листьев... он сулил могущество. Возможность ответить ударом на удар.

Она открыла глаза. В них не было ни страха, ни нерешительности. Только та же ледяная ясность.

– Я выбираю помнить, – тихо, но четко сказала она. – И я выбираю силу. Не для мести. Чтобы больше никто не мог отнять у меня то, что я люблю.

Она медленно опустилась на колени перед свежей могилой и положила ладони на влажную, холодную землю. Она не молилась. Она не просила. Она обращалась.

– Я слышу вас, – произнесла она, и ее голос, тихий и твердый, слился с шепотом духов. – Я принимаю ваш дар. Научите меня.

В ответ шепот усилился, превратившись в почти слышимый гул. Он обволакивал ее, проникал в нее, наполняя не звуком, а знанием. Она почувствовала, как холод земли под ее ладонями перестал быть враждебным. Он стал... знакомым. Силой. Она ощутила медленный, могучий пульс мира, биение его древнего, не знающего жалости сердца.

Она не знала заклинаний. Не знала ритуалов. Руководствуясь лишь внезапно вспыхнувшим в душе импульсом, она сорвала несколько стеблей полыни, росшей у подножья дуба, и прижала их к земле над могилой отца.

– Пусть твой покой будет крепким, – прошептала она. – А моя дорога – твердой.

Стебли в ее пальцах на мгновение показались теплее, чем все вокруг. Шепот стих, но ощущение присутствия, связи с окружающим миром, осталось. Оно было теперь внутри нее.

Они молча побрели обратно. Марион шла, иначе ощущая мир. Каждый камень под ногой, каждый шелест прошлогодней листвы, каждое дуновение тумана – все теперь что-то значило. Все было наполнено тихой, древней жизнью, с которой она теперь была в союзе.

Именно это новое, обостренное восприятие и сыграло с ней злую шутку. Когда они уже подходили к своему дому, ее взгляд упал на засохший, почерневший от болезней куст бузины у забора. И сквозь ее сознание, еще не защищенное и не обученное, прорвался тот самый, низкий голос из-под гниющих листьев:

«Он мертв... как этот куст. Сожги его. Очисти. Покажи свою власть...»

Волна горя и ярости, которую она так тщательно сдерживала, вырвалась наружу. Она не произнесла ни слова, не сделала ни одного жеста. Она лишь посмотрела на куст, и вся ее воля, все ее отчаяние сконцентрировались в одном немом приказе: *«Исчезни»*.

Произошло нечто ужасающее. Куст не загорелся. Он... рассыпался. Побег, еще недавно упрямо торчавший к небу, почернел, сморщился и за несколько секунд обратился в горстку черного, дымящегося пепла, который тут же развеял ветерок. От куста не осталось ничего, кроме темного пятна на земле.

Марион отшатнулась, с ужасом глядя на свою руку. Она не чувствовала ни усталости, ни боли. Лишь ледяной холод, идущий изнутри, и странное, щекочущее удовлетворение, которое испугало ее еще больше.

Аделина резко схватила ее за запястье. Ее пальцы были холодными, как сталь.

– Видишь? – ее голос прозвучал сурово. – Это не игрушка. Ты открыла дверь, и теперь они могут действовать через тебя. Без спроса. Без контроля. Ты для них – как незапертая лавка алхимика для вора. Сила без узды сожжет тебя изнутри и привлечет то, чего лучше не тревожить.

Она почти втокнула Марион в дом, захлопнув дверь. Внутри пахло дымом и травами, но теперь этот запах казался слабым укрытием от того, что пришло с ними.

– Снимай плащ, – приказала Аделина, запирая засов. Ее движения были резкими, полными тревоги. – Теперь нельзя ждать. Нужно ставить Печать. Пока не поздно.

Она велела Марион разжечь в очаге огонь и принести медный таз с колодезной водой. Пока та выполняла приказы, Аделина достала из потайного сундучка сверток, завернутый в кожу. Внутри лежали засушенные корни мандрагоры, скрученные в жутковатые фигурки, пучок черных волос (чьих – Марион боялась спросить) и маленький камень с естественным отверстием посередине.

– Слушай и не перечь, – сказала Аделина, зажигая от очага восковую свечу черного цвета. – Духи дали тебе слух. Теперь нужно поставить стражу у дверей твоего разума. Чтобы ты решала, кого впускать, а кого – нет. И чтобы они не могли оседлать твою волю, как этот голос тления оседлал твой гнев.

Ритуал был быстрым и суровым. Аделина заставила Марион сесть на пол перед очагом, обнажив спину. Она обмакнула палец в смесь толченой мандрагоры и сажи и стала выводить на ее коже между лопаток сложный, колючий узор. Он жегся, как укусы сотни муравьев.

– Это не для красоты, – бормотала старуха, ее дыхание стало тяжелым. – Это сети для ловли непрошенных гостей. Это замок на двери, ключ от которого только у тебя.

Затем она взяла камень с отверстием, продела в него черную нить и повесила его на шею Марион.

– Глаз земли, – пояснила она. – Он будет смотреть внутрь тебя, а не наружу. Чтобы ты всегда помнила, где твоя воля, а где – их шепот.

Когда она закончила, Марион почувствовала странное облегчение. Давящий гул присутствия, что висел в ее сознании с кладбища, отступил, стал тише и дальше. Теперь она могла различить отдельные голоса, но они больше не звучали прямо в ее голове. Они были снаружи, как тихий разговор в соседней комнате. Она могла прислушаться, а могла и игнорировать.

– Запомни, – Аделина опустилась перед ней, ее глаза в морщинистом лице горели. – Они дают силу, но берут взамен. Дуб потребует твоей устойчивости, сделает тебя неподатливой, как камень. Травы – твоей связи с другими, превратят в слух на ветру. А тот, что в гниении... он возьмет кусочек твоей теплоты, твоей человечности. Каждый раз. Ты должна всегда помнить, чего ты хочешь, и платить только ту цену, которую согласна. Иначе они съедят тебя, и от Марион ничего не останется.

Марион кивнула, сжимая в ладони камень-глаз. Он был теплым, почти живым. Она сделала свой выбор. Она вступила в сговор с силами, которых не понимала, но чью мощь признала. Вера отца умерла. Родилось нечто новое. Не просто знахарка, не просто ученица. Родилась ведьма, прошедшая первое посвящение. И ночь, принявшая ее обет, хранила гробовое молчание, будто понимая – в мире появилась новая сила, и равновесие сместилось навсегда. Цена была ясна. И она была готова платить.

Глава 5. Первое Проклятие

«Сила, рожденная гневом, не знает полумер. Она не предупреждает и не учит – она калечит и убивает, оставляя заклинателя наедине с эхом собственной ярости и тишиной, что громче любого крика.»

Спустя несколько дней после похорон отца в дом постучались. Стук был не робким, а наглым, требовательным, чуть ли не вышибающим дверь. Аделина метнула на Марион предостерегающий взгляд и, накинув на плечи платок, приоткрыла дверь, оставив тяжелую цепь.

На пороге стоял толстый, краснощекий лавочник Бартольд, чья лавка пряностей и сушеных трав находилась в двух улицах от них. Его тучное тело было облачено в добротный, но испачканный жиром камзол, а маленькие, свиные глазки бегали по сумрачной комнате с наглой жадностью. За ним кучкой жались двое его здоровенных сыновей, вооруженных дубинами.

– Чего надо, Бартольд? – голос Аделины прозвучал сухо и холодно, как удар камня о лед.

– Не за здоровьем твоим, старая, сгинь! – фыркнул лавочник, пытаясь заглянуть внутрь.

– Каэла требую! Где он? Долг отдавать!

Марион, стоявшая в глубине комнаты, застыла. Долг?

– Какой долг? – спросила Аделина, и в ее голосе послышались стальные нотки.

– А такой! – Бартольд вытащил из-за пазухи потрепанную бумажку. – Месяц назад брал у меня корень мандрагоры и серебряную серную кислоту! Для своих опытов! Обещал вернуть в полной мере! А теперь, слышу, помер! От чумы! Так не годится! Долг – он и есть долг! Он мне должен!

– Мой сын лечил твою жену, когда та чуть не померла от горячки, – тихо, но ядовито сказала Аделина. – И не взял ни гроша. Считаю, долг оплачен.

– То – одно, а это – другое! – уперся Бартольд, и его лицо покраснело еще сильнее. – Лечение – его добрая воля была! А тут – товар! Или ты, старая, думаешь, его колдовские штучки мне задолжали? Да я городским властям на него жаловался! Говорил – не дело это, травы да зелья варить! Не иначе, сам чуму на город навлек своими богомерзкими опытами! Так что плати, ведьма! Или я судей на вас наведу! Скажу, что вы тут чертовщиной занимаетесь!

Слово «навлек» повисло в воздухе, как ядовитый дым. Марион увидела, как спина Аделины напряглась. Но старуха не дрогнула.

– Убирайся, Бартольд, – сказала она с ледяным спокойствием. – Пока можешь. И прихвати своих щенков.

Лавочник что-то пробурчал, плюнул на порог и, бросив последний гневный взгляд, удалился вместе с сыновьями. Дверь захлопнулась. В доме воцарилась тишина, но теперь она была иной – густой, злой, насыщенной унижением и яростью.

Марион стояла, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. Все ее существо содрогалось от гнева. Этот толстый, алчный мерзавец... Он не только пришел требовать деньги с мертвого, он посмел обвинить ее отца в том, что он навлек чуму! Ее отца, который положил свою жизнь, пытаясь спасти других!

В ее ушах стоял тот самый, низкий шепот из-под гниющих листьев, который она слышала на кладбище. Теперь он звучал яснее, настойчивее, вкрадчивее.

«Оскорбил память... запятнал честь... Разве можно простить? Он плевал на его могилу, пока она была еще свежа... Разве можно оставить безнаказанным? Мы можем дать... Мы можем наказать... Сделай его немоощным... как он делает немоощными других своей жадностью...»

«Нет, – пыталась противостоять ей другая часть ее сознания, слабая, угасающая. – Отец... он бы не одобрил. Он верил в логику, в закон...»

«Какой закон? – нашептывал голос, и в нем слышался ядовитый смешок. – Закон, который позволяет таким, как он, плевать на память героя? Твой отец верил в справедливость. Разве это справедливо?»

Этот внутренний диалог рвал ее на части. С одной стороны – холодная, прагматичная ярость, жаждавшая возмездия. С другой – призрачная тень отца, его заветы, его рациональный мир, который уже не мог защитить ни его, ни ее. И чем дольше она думала о наглой ухмылке Бартольда, тем тише становился голос отца, и тем громче, убедительнее звучал шепот из тьмы.

– Забудь, дитя, – сказала Аделина, поворачиваясь к ней. Ее лицо было усталым. – Собака лает, ветер носит. С такими не спорят.

– Нет, – тихо, но с такой силой ответила Марион, что Аделина вздрогнула. В ее глазах, обычно таких ясных, теперь бушевала буря. – Не носит. Он плюнул на его могилу. И я этого не оставляю. Он должен заплатить.

В ее голосе прозвучала не детская обида, а холодная, взрослая решимость. Аделина посмотрела на нее внимательнее, и в ее взгляде мелькнуло нечто похожее на тревогу. Она видела не просто гнев, а нечто более глубокое и опасное – трансформацию.

Марион повернулась и ушла в свою комнату-кладовку. Аделина не стала ее останавливать. Она лишь смотрела ей вслед, и бездонная печаль в ее глазах смешивалась с суровым пониманием. Она знала, что некоторые семена, однажды упав в благодатную почву, прорастают неизбежно.

Весь день Марион провела в странном, отрешенном состоянии. Она механически выполняла работу по дому, но ее мысли были заняты одним. Она лелеяла свою ярость, копила ее, как скупой рыцарь золото. Она вспоминала каждое слово Бартольда, его наглое, самодовольное лицо. И с каждым воспоминанием шепот в ее сознании становился настойчивее, превращаясь во внятный, членораздельный голос, диктующий план.

К вечеру она поняла, что будет делать. Знание пришло не из книг, не от Аделины. Оно всплыло из самых потаенных глубин ее души, облаченное в образы и ощущения, подсказанные шепотом.

Она дождалась, когда Аделина уснет в своем кресле, и на цыпочках вышла в основную комнату. Ночь была ветреной, завывание в трубе звучало как похоронный марш. Она не зажигала свечу. Лунный свет, бледный и холодный, пробивался сквозь щели ставень, выхватывая из мрака знакомые очертания.

Она знала, что ей нужно. Воск. Что-то, что принадлежало бы Бартольду. И гвоздь.

Воск она нашла в запасах Аделины. С вещами Бартольда было сложнее, но тут ей помогла память. Неделю назад он сам приносил отцу образцы испорченного перца, жалуясь на поставщика. Мешочек был грубым, из дешевого холста. Отец, скорее всего, выбросил бы его, но в спешке и отчаянии последних дней он так и валялся в углу, среди прочего хлама. Марион подобрала его. Он все еще хранил жирный, пряный запах лавочника. Гвоздь она вытащила из старой, разошедшейся половицы.

Ее руки дрожали, но не от страха, а от предвкушения. Это было странное, щекочущее нервы чувство – смесь ужаса и могущества.

Она села на пол окутанная лунным светом. Положила перед собой мешочек и гвоздь. Потом взяла кусок воска и начала медленно, методично разминать его в ладонях. Она не думала о словах. Они пришли сами, тихие, шипящие, рожденные ее гневом и подсказанные шепотом из тьмы.

– Как этот воск тает в моих руках... – прошептала она, глядя на мягкий, податливый комок. – Так и сила его, здоровье его... пусть растает... уйдет в землю...

Она начала формировать из воска грубую, уродливую фигурку, наделяя ее узнаваемыми чертами – толстым брюшком, короткими конечностями.

– Как этот гвоздь входит в дерево... – она взяла гвоздь и с силой вдавила его в восковую фигурку в области живота. Острая, сладкая боль пронзила ее собственный живот, заставив ее вздрогнуть. Воздух в комнате стал густым и тяжелым, пахнувшим озоном и разложением. – Так и боль... войди в его тело... в его внутренности... пусть скрутит его... пусть иссушит...

Она обмотала фигурку нитками, сорванными с того самого мешочка, связывая их в тугой, мертвый узел. Вены на ее запястьях потемнели, словно по ним побежали чернила.

– Связала я его по рукам и ногам... его жадность... его злость... его дыхание... Как этот узел не развязать... так и болезни его не миновать...

Шепот в ее сознании слился с ее собственными словами в единый поток. Она чувствовала, как из нее что-то уходит – не сила, а что-то теплое, какая-то часть ее прежней, человеческой сути. Но на ее месте возникало нечто иное – холодное, острое, удовлетворенное.

Она подняла восковую куклу, пронзенную гвоздем и опутанную нитями, и, не разжимая пальцев, прошептала последние слова:

– По моей воле, по зову крови, по силе, что дана мне... Да сбудется!

В тот же миг, в доме Бартольда, расположенном над его лавкой, раздался оглушительный, животный вопль, заставивший вздрогнуть даже его сыновей, спавших мертвым сном после выпитой на ночь браги. Это был не крик боли, а нечто более первобытное – вопль ужаса перед лицом внезапно нахлынувшей, необъяснимой агонии.

Бартольд, только что мирно похрапывавший на своей пуховой перине, взметнулся на кровати, как кукла на нитках. Его тучное тело скрутилось в неестественной судороге. Живот, в который Марион вонзила гвоздь, вспучился, будто внутри него что-то живое и яростное пыталось вырваться наружу. Кожа налилась багрово-синим цветом, став горячей и плотной, как вареный окорок.

– Жжет! – захрипел он, катаясь по постели и срывая с себя рубаху. – Внутри все жжет! Спасите!

Его сыновья, ворвавшись в комнату, застыли в ужасе. Картина, открывшаяся им, была хуже любого кошмара. Тело их отца начало раздуваться, как бурдюк с прокисшим вином. Из его рта хлынула пена, сначала белая, а затем зеленовато-черная, с отвратительным запахом гниющего мяса и медного купороса. Глаза закатились, оставив лишь окровавленные белки, а по его коже, прямо на их глазах, стали проступать черные, гангренозные пятна, расползающиеся с пугающей скоростью, словно чернила, пролитые на промокашку.

– Отец! Что с тобой?!

– Врача! Беги за лекарем!

Но было уже поздно. Бартольд уже не мог говорить. Его горло сдавили спазмы, и он начал давиться собственным распухшим языком. Судороги стали такими сильными, что послышался треск – невыносимый, сухой хруст ломающихся ребер, не выдержавших давления изнутри. Он бился в агонии, испражняясь под себя, и с каждым конвульсивным движением его тело теряло человеческие черты, превращаясь в раздутый, багрово-черный мешок с костями.

Весь этот кошмар длился не более десяти минут. Последним, что увидели его сыновья, прежде чем потерявший всякий человеческий облик Бартольд затих, был кровавый пузырь, надувшийся у него на губах и лопнувший с тихим, чавкающим звуком. Затем его тело обмякло, испустив последний, свистящий выдох, и застыло в уродливой, невообразимой позе.

Смерть была настолько быстрой, мучительной и неестественной, что даже его крепкие сыновья, выдавшие виды, в ужасе отпрянули. Старший, опрометью кинувшись к двери, чтобы все же позвать кого-то, поскользнулся на зловонной луже и рухнул на пол, рыдая от страха и отвращения.

А в доме Марион, в тот самый миг, когда дух покинул тело Бартольда, восковая кукла в ее руке внезапно стала мягкой, как теплый воск, а затем рассыпалась в мелкую, серую пыль, просочившуюся сквозь ее пальцы. Одновременно с этим по всему ее телу пробежала короткая, но пронзительная волна жара, сменившаяся леденящей пустотой. Она поняла без всяких слов. Все кончено. Ее воля свершилась.

– Глупая девочка.

Голос прозвучал прямо за ее спиной, тихий, но полный такой громадной ярости, что у Марион похолодела кровь. Она резко обернулась.

Аделина стояла в дверном проеме. Она не спала. Ее лицо, освещенное лунным светом, было искажено не печалью, а холодным, беспощадным гневом. Ее глаза горели, как угли.

– Ты думаешь, это игра? – ее слова падали, как камни. – Ты думаешь, ты единственная, кто может слышать? Ты как младенец, кричащий в спящем лесу. Ты разбудила не только его.

Марион, все еще сидя на полу, сжала в руке восковую куклу. Чувство могущества сменилось леденящим страхом.

– Он... он заслужил, – попыталась она защититься, но ее голос дрогнул.

– Заслужил? – Аделина с горечью рассмеялась. – Мир полон тех, кто «заслужил». Если мы начнем наказывать каждого, от нас ничего не останется, кроме выжженной земли! Ты открыла дверь, Марион. Не просто для шепота. Ты воспользовалась Силой, что ходит по краю. Она заметила тебя. Та, что принесла Чуму. Тень. Теперь она знает о тебе. И она любопытна. Она придет. По твой след. По твой зов. И если найдет тебя слабой... она войдет в тебя, как входила в других.

Марион сглотнула. Ужас, настоящий, физический ужас сковал ее конечности. Она не думала об этом. Она думала только о мести.

– Что... что мне делать? – прошептала она.

– Прятаться, – резко ответила Аделина. – Учиться. И быть готовой. Ты совершила свой выбор. Теперь пожинай последствия. И молись, чтобы твоя глупая месть стоила той цены, которую нам всем, возможно, придется заплатить.

Она повернулась и ушла в свою комнату, оставив Марион одну в холодном лунном свете, с ледяной фигуркой в руке и с новым, куда более страшным врагом, призванным ею самой. Сладкий вкус мести на ее губах превратился в пепел. Она только что одержала свою первую победу. И, возможно, подписала себе и всем, кто был с ней, смертный приговор.

Глава 6. Уход в Лес

«Когда за тобой закрывается дверь в мир людей, открывается тысяча глаз в мире теней. И первый урок леса прост: слушай не ушами, а кожей, смотри не глазами, а душой».

Туман над городом казался вечным. Он впитывал в себя дым чумных костров, крики отчаяния и звон церковных колоколов, звонивших по умершим, превращая все в единую, густую, беззвучную хмарь. Но в ту ночь, когда последняя горсть восковой пыли осыпалась с пальцев Марион, в доме Каэла пахло не только дымом и травами. Воздух был наполнен новым, металлическим привкусом свершившегося – пахло молнией после удара и холодом глубокой пещеры.

Аделина не спала до самого рассвета. Ее молчание было тяжелее любых упреков. Она двигалась по комнате – своей старой, но внезапно выпрямившейся походкой, – собирая вещи в два холщовых мешка. Ее движения были резкими, лишенными привычной старческой неторопливости. Каждое движение говорило: *«Места больше нет. Времени нет»*.

Марион сидела на полу, прислонившись к стене, и смотрела на свои руки. Они были чистыми, но ей чудилось, что они по локоть вымазаны в той серой, безжизненной пыли, что осталась от куклы, и в чем-то липком и темном, что исходило от смерти Бартольда. Физической тошноты не было, была иная – душевная. Ощущение, будто внутри нее выжгли кусок живой плоти и заполнили образовавшуюся пустоту осколками льда. Она чувствовала холодную, отстраненную ясность и одновременно – дрожь, идущую из самого нутра, словно ее собственное тело боялось того, что в нем теперь жило.

– Вставай, – голос Аделины прозвучал без обиды, но и без капли тепла. Это был голос командира, ведущего солдата на поле боя, где малейшая ошибка стоила жизни. – Мы уходим.

– Уходим? Куда? – Марион подняла на нее глаза, и в них мелькнула тень прежней, испуганной девочки.

– В лес. Глухой бор, что к северу от города. Там есть место... наше место. Люди там не ходят. А та, что пришла с Чумой, ходит по следам людским. Ей в чащобе делать нечего. Пока что.

Она бросила к ее ногам сверток с грубой одеждой – мужские портки и просторную, потертую рубаху.

– Переоденься. Платье выдаст тебя за версту. Отныне ты не городская девчонка. Ты – тень в лесу. И води себя соответственно.

Сборы заняли меньше часа. Аделина, казалось, годами готовилась к этому бегству. Она не брала ничего лишнего: два одеяла, железный котелок, нож с широким лезвием, мешочек с солью и сушеным мясом, а главное – ее старый, истрепанный саквояж, набитый свертками трав, засушенными кореньями и маленькими, темными склянками, чье содержимое Марион боялась даже представить. Она принесла из кладовки отцовский хирургический ланцет, тот самый, в черном бархате, и сунула его внутрь своей одежды, у сердца.

– Его знание может еще пригодиться, – сказала она, поймав вопросительный взгляд Марион. – Не все раны можно исцелить одной магией. Иногда нужно острое лезвие и твердая рука.

Они выскользнули из дома на рассвете, когда серый, больной свет только начал размывать очертания мира. Город спал мертвецким, неестественным сном, и этот сон был страшнее любого шума. Воздух был насыщен миазмами – сладковатым запахом гниющей плоти и едкой известью. На дверях соседнего дома уже красовался угольный крест, рваный и небрежный, как знак скорой гибели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.